

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л



# РОМАН №10 ГАЗЕТА

**Виктор Слипенчук / Зинзивер**



# «Вместе на кресте»

**Сергей Михайлович Харламов (27.01.1942–02.04.2023) — выдающийся русский художник, работавший в станковой и книжной графике в техниках ксилографии, линогравюры. Он автор серий гравюр: «Русские писатели XVIII–XIX века» (1974–1976), «На поле Куликовом» (1976–1979), «Отечественная война 1812 года» и других, иллюстратор произведений Джонатана Свифта, Н. В. Гоголя, стихотворений Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, А. К. Толстого. В 1990–е годы Сергей Харламов создал цикл гравюр «В земле Российской просиявшие». Произведения художника представлены в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Киевского государственного художественного музея, Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника, музеях и частных коллекциях России, Сербии, Италии, Великобритании, США и других стран. Друг С. М. Харламова, знаменитый скульптор Вячеслав Клыков сказал о нем: «Смотришь на гравюру Сергея Харламова и оказываешься в настолько родном, знакомом тебе мире... Все это Россия. Художник поразительно точно передает ее образ, кажется, ты переживаешь с той же, что и автор, волнующей силой. Вечностью, мощью веет от этих гравюр, и на душе становится как-то ясно, просто, спокойно».**

В сентябре 1994 года Сергей Харламов вместе с группой русских художников побывал в Сербии. Публикуем фрагменты из его воспоминаний «Вместе на кресте». Они и сегодня, спустя 30 лет, не потеряли своей актуальности.

«Россия, как православная держава, всегда поддерживала Сербию и давала ей возможность выжить в исключительно сложных условиях. Страна почти со всех сторон зажата либо католиками, либо мусульманами. С православной Болгарией и них взаимная нелюбовь, с особой силой проявившаяся во время Первой и Второй мировых войн. И если мощь нашей державы ослабевала, как в политическом, так и в экономическом плане, то мгновенно усиливалось давление на православие во всем мире и на Сербию особенно. По внутреннему устройству души они наши, восточные, православные, по внешнему виду — западники, так как находятся в центре Европы».

«У нас с Сербией один путь. Наши общие страдания только свидетел-



Троица. Сергей Радонежский и Андрей Рублёв (1994)



Князь Михаил Черниговский в Орде (1983)

Окончание см. на 3 стр. обложки.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

# РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель  
ООО «Роман-газета»

Главный редактор  
Юрий Козлов

Редакционная  
коллегия:  
Дмитрий Белюкин  
Алексей Варламов  
Анатолий Заболоцкий  
Владимир Личутин  
Юрий Поляков

Ответственный  
редактор  
Елена Русакова

Права  
на использование  
товарного знака  
«Роман-газета»  
принадлежат  
ООО «Роман-газета»  
© ООО «Роман-газета», 2024  
Все права защищены

Журнал зарегистрирован  
в Министерстве связи  
и массовых коммуникаций РФ.  
Свидетельство о регистрации  
ПИ № ФС77-68350  
от 30.12.2016 г.

Подписаться  
на журнал «Роман-газета»  
можно в отделениях связи  
и через Интернет:  
roman-gazeta-1927@yandex.ru

Подписные  
индексы издания:

в объединенном  
каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может  
не совпадать с позицией  
редакции

2024 №10 /1951/ Основана в 1927 г.

Виктор Слипечук

## Зинзивер

Роман

### Глава 29

Итак, десятого апреля я надеялся снять с себя ограничения по голоданию. Однако снял гораздо раньше. И это не было первоапрельской шуткой. То есть первого апреля утром кто-то под дверь в комнату подбросил письмо. Я подумал: какая-нибудь шутка, розыгрыш. Каково же было мое удивление, когда я узнал Розочкин почерк.

Я тихо лёг на кровать и долго-долго лежал с конвертом на груди. Всякие энергичные мысли, точно ретивые лошадки, проносились в моей голове. Наша короткая жизнь с Розочкой предстала передо мной воистину как на ладони.

Не представляю, сколько я пролежал, застигнутый сладостными воспоминаниями, но, когда очнулся, подбежал к столу за ножницами и чуть не зарыдал в избытке чувств. Меня трясло, я не мог справиться с пустячным делом — надрезать конверт.

Что, что она пишет?! Может, сообщает, что выехала ко мне и её надо встретить? А может, она уже приехала, а письмо запоздало? Конечно, запоздало! Ныне ничто не работает, а если работает, то настолько отвратительно, что лучше бы не работало, не давало провокационных надежд.

Я с горечью положил конверт и ножницы на подушку. Я почувствовал такой ненасытный голод, какого ещё не случалось испытывать даже во время голодания. Выражение «сосёт под ложечкой» — детский лепет, жалкая пародия на чувство, которое овладело мной. Кстати, ненасытный голод — основной признак или симптом, что впадаю в истерику. Единственное спасение в этом случае — еда. И непременно грубый продукт, то есть твёрдая пища.

Я жадно оглядел комнату: рабочий стол, который часто заменял мне верстак, спинки кровати, другие предметы и вещи. Я искал какой-нибудь металлический шарик с одной-единственной целью (да-да!) — проглотить его. О Господи, любой из них, даже какой-нибудь заваливающий ржавый, был для меня в тот момент пределом вожеланий. Я совсем позабыл (итог внезапного перевозбуждения), что в картонных коробках под кроватью у меня полным-полно продуктов, а на подоконнике, в целлофановом пакете, две булки самого настоящего свежего хлеба. Но, как говорится, ситуацию разрешил сам Бог — я увидел пакет. Нет-нет, я не вспомнил о хле-

Окончание. Начало см. в № 9 за 2024 год.

бе! Совершенно машинально положил руку на пакет и чуть не подпрыгнул от радости — хлеб!

Нет нужды рассказывать, с каким аппетитом я ел его. Нет — уминал, потому что я не резал его ножом, а рвал руками, как рвал бы его любой изголодавшийся. (В своём нервном потрясении я был именно таким изголодавшимся, хотя и не был им.)

Итак, за десять дней до срока, предусмотренного по схеме, я уже стал употреблять твердую пищу, причём в неограниченных количествах. Впрочем, надо признать, что, только умяв одну и приступив к уминанию другой ржаной булки, я вдруг почувствовал, что как бы проглотил свинцовый бильярдный шар. Словом, руки мои перестали трястись, а душевно я до того успокоился, что опять тихо лёг с конвертом на груди.

На этот раз не было никаких воспоминаний и никаких мыслей, даже случайных, лежал в какой-то первозданной пустоте. Один раз только отчётливо подумалось: чего лежишь, вскрой наконец конверт! И я — вскрыл.

Роза писала на жёлтом от времени листе, на уголке которого был нарисован выцветший Дед Мороз и надпись — С Новым, 1970 годом! Где она его взяла? Ведь она родилась в 1972-м?! Мысли мои понеслись вскачь — пятого июня ей исполнится двадцать. Мы мечтали отметить круглую дату какими-нибудь дикарями в Крыму. Боже мой, где это все?!

«Дорогой Митя!..»

(В глазах у меня помутнело — до-ро-гой! Я дорогой для неё!.. Невидяще посмотрел в окно: «Розочка, где ты? Как живёшь, мой цветочек?!» Снова поднёс к глазам ветхий лист.)

«Дорогой Митя! Меня восстановили в медучилище, но без стипендии. Я подрабатывала на «скорой помощи». А вчера стали говорить, что я взяла коробку ампул морфия и продала криминальным наркоманам. Мне уже делали привод в милицию и угрожали отчислить. За что? Я не брала! Говорят, что и тебя, как моего бывшего мужа, будут вылавливать. Но это они берут на понтá: ты же не венерический. Я не дала твоего адреса, и ты, Митя, не открывайся. По возможности вышли мне денег, сколько сможешь, — до востребования. Знаю, тебе интересно, как моя цель. Не беспокойся, цель моя горит, как звезда в небе, а внизу грязь сплошная. Но один Владыка уже пообещал наставить меня на путь истинный. Как увидит меня, так сразу — свят-свят-свят!.. Лицо холеное, прозрачное — сю-сю-сю! Но ты, Митя, хотя и неряха хороший, а чище их всех. Стихи в Москве продают с рук на руки, а договариваются по телефону. Если у тебя сейчас нет денег, прошу, сходи попродавай свои «нетленки». Кроме как на тебя, Митя, мне не на кого надеяться. Ну, иди сюда, Митенька, я тебя поцелую. Встретимся — как договорились, а пока не засвечивайся, деньги присылай до востребования на

Розу Федоровну Слёзкину. У меня два паспорта. Сейчас я живу под твоей фамилией. Присылай — твоя Розочка».

Письмо взволновало. Я несколько раз перечитал его и пришёл к выводу, что положение у Розочки совершенно ужасное, она гибнет. А она — не кто-нибудь, она — Роза Фёдоровна Слёзкина! Я даже закричал на себя от негодования:

— Ты ещё здесь?! Срочно — деньги!

И желательно в СКВ, добавил я мысленно потому, что с этой секунды уже контролировал свои действия.

Я быстро оделся и накинул крылатку. Несмотря на желание немедленно бежать продавать свои «нетленки», я почти до обеда «просидел» в ней за столом — подготавливался...

Во-первых, все эти дни, что выходил из голодания, я писал. А стало быть, совсем новые стихи не были отпечатаны. Во-вторых, после «Свинячьей лужи» и очередных запоздалых рефлексий, связанных с выпивкой, я совершенно безрассудно настроился, что никогда больше не буду продавать свои произведения. А потому не произвел даже поверхностной их инвентаризации. Словом, продавать стихи и при этом не оставлять себе второго экземпляра, то есть продавать вместе с ними навечно и своё авторство, — этого бы Розочка не одобрила. И правильно, потому что всякий, пытающийся стать писателем, не может не мечтать об издании собрания своих сочинений. И это естественно, как естественно, что каждый солдат мечтает стать генералом. Борис Леонидович Пастернак, попросту говоря, надул нас, когда сказал: «Не надо заводить архива / Над рукописями трястись». Недавно я полистал четвертый том его собрания сочинений — кирпич, более девятисот страниц, в который, между прочим, включены первые, понимаете, первые литературные опыты Бориса Леонидовича. Думаю, тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы с уверенностью утверждать: сам Борис Леонидович завёл свой архив где-то двадцати лет от роду и всю жизнь содержал его в полнейшем порядке. По себе знаю, любят поэты блеснуть остроумием, козырнуть новым словом, строкой, четверостишием. Тянет их промчаться по небосводу таким пылающим метеором, чтобы непременно всех и сразу ослепить своим сиянием. Так и здесь... Но будет об этом!

Вместо какой-то там минуты я просидел дома почти до обеда. Я вынужденно занимался тем, что впоследствии составило начало моего архива. Тем не менее за каких-то полдня я проявил чудеса работоспособности. Единственное, что смущало, — не было нового стихотворения, посвящённого Розочке. (В своё время я отпечатал его в одном экземпляре — дарственные стихи должны быть единичны.) И вот...

Неужто именно его приобрёл начальник милиции?! Как бы там ни было, а со стихотворения Розочке начал я свой архив. Виделось в этом что-то символическое. Наверное, поэтому, хотя я и показывал чудеса работоспособности, мне то и дело вспоминался часто повторяющийся сон из того незабываемого, но практически забытого мною дня.

\* \* \*

Летний бар «Свинячья лужа», длинный стол, густо уставленный полупустыми бутылками и банками из-под пива, сквозь дым и пар как бы плавающие лица побратимов и гул пьяного разговора, в котором все говорят и никто никого не слушает.

— Митя, продай свой байковый балдахон за тридцать унций золота! Это — девять тысяч зелёных! — горячо говорит волосатый Реня и ещё выше поднимает меня. Я сижу на его руке, поджав ноги, их не видно из-под крылатки. «Зачем ему мой балдахон?» — терзаюсь я.

Реня несёт меня вокруг стола, как знамя, а точнее, как поднос с яствами. И действительно, я уже сижу в открытой серебряной посудине, обсыпанный какой-то сахарной пудрой. Побратимы, перемигиваясь, привстают, желая лично удостовериться, что из обещанных яств — это именно я. При этом у каждого из них ножи и вилки, точка которые друг о дружку, они выказывают свое нетерпение ко мне, как бы лангету.

Если я сброшу крылатку, а продав, придётся сбросить, мысленно констатирую я (меня охватывает ужас), побратимы съедят любого, кто окажется на столе, как говорится, и косточек не оставят. Так вот для чего Рене мой байковый балдахон?! — прозреваю я, и отчаяние придает мне силы.

— Во-первых, это не балдахон и тем более не балдахин, это, это крылатка — крылатка всадника, скачущего впереди!

Реня достаёт из-под чёрного блестящего плаща (он теперь в плаще и цилиндре джентльмена) портмоне, туго набитое долларами. Портмоне из крокодиловой кожи, оно до того распухло от СКВ, что не закрывается, и Реня вынужден держать его перед моими глазами кармашками наружу. Я вскрикиваю:

— Манчестер Сити!

Вскрикиваю оттого, что внезапно узнал и англичанина, и его портмоне. Я даже заметил, когда он по-джентльменски широко откинул плащ, розовый платочек в кармашке его смокинга.

Понимая, что разоблачён, что ничего уже не исправишь, Реня со всей силы так треснул подносом о стол, что все яства (в том числе и я в серебряной посудине) покатались в разные стороны, разбивая на своём пути всякие бутылки, банки и склянки. Да-да, последнее, что я слышал, — звон стекла. И последнее, что видел, — занесённые надо мною ножи и

вилки (сейчас они вонзятся в мою плоть — я с криком просыпался).

Теперь, когда пришло письмо от Розочки, часто повторяющийся сон обрадовал — среди рукописей, принесённых из редакции, попался «Сонник» Нины Григорьевны Гришиной, из которого я узнал, что удары получать от живых — это семейное счастье, всё хорошо.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### Глава 30

Моё появление в «Свинячьей луже» никого не удивило, оказывается, меня ждали. Не конкретно, но, как говорится, со дня на день. Транспарант с моим стихотворением был заменён (теперь на небесно-голубом ситце сияли всего два слова: «ПИВНОЙ БАР»). Двуносый сказал мне, точно какому-нибудь фининспектору, что обслуживание населения — серьёзный вопрос, а поэтому надо стремиться к простым, но неоскорбительным формам.

— Человека надо уважать! Человек — вещь священная (*Homo res sacra*).

То, что Двуносый стал использовать крылатые слова, да ещё на латыни, меня несколько не удивило. Обыкновенные изыски, наподобие — поэт от Фаберже!.. А вот подчеркивание, что обслуживание — вопрос серьёзный, что во всём надо стремиться к простым, но неоскорбительным формам, как-то сразу озадачило: почувствовал, что это не его слова, то есть слова, может быть, и его, а самая мысль кого-то, имеющего власть над ним. Тут, наверное, мой прежний опыт работы в газете сказался, когда после очередного или внеочередного Пленума ЦК КПСС я замечал в какой-нибудь самой неприятельной статейке отблеск великих решений... Сейчас это трудно представить, но в те времена талантливость автора определялась не прямой компиляцией решений партии, нет-нет, она определялась умением так тонко подбирать и располагать факты, чтобы они сами, подобно лакмусовой бумажке, проявляли высочайшую необходимость принятых решений. В каждой газете были компиляторы настолько высокой пробы, что их признавали «золотыми перьями» и даже в некотором смысле инакомыслящими (диссидентами не называли, это слово пугало тогда даже самих «инакомыслящих»). Не считая Васи Кружкина, я двоих таковых знал в нашем отделе комсомольской жизни. Почему Двуносый напомнил одного из них, бог весть! Я его напрямую спросил: видел ли он начальника железнодорожной милиции? Не тот

ли приказал ему снять транспарант с моим стихотворением, и вообще, не он ли наставлял Двуносого стремиться к простым, но неоскорбительным формам?

— Он, Митя, он! — воскликнул Двуносый и, опасливо озираясь, пригласил меня в свой так называемый кабинет для конфиденциального разговора (в центральном киоске у него была тесная выгородка из ящиков, заполненных стеклотарой). — Вот здесь, Митя, вот здесь! Прямо на кресле, на котором ты сидишь!..

Я сидел на каком-то амбарном приспособлении с разьежающимися металлическими ножками, которые сами по себе постоянно спружинивали, отчего было чувство, что я всё время куда-то еду, не то на верблюде, не то на пауке. Я даже тряхнул головой, чтобы освободиться от внезапного наваждения.

А между тем Двуносый горделиво продолжал, что позавчера его самолично посетил Лимонич (так он называл начальника железнодорожной милиции и при этом всегда уважительно добавлял: глаз — алмаз и Голова — с большой буквы). Посетил для того, чтобы иметь с ним неофициальную беседу. (И смех и грех — два дипломата, встретившиеся в чулане.)

Впрочем, подобострастное отношение к Лимоничу вскоре разъяснилось. Оказывается, большое счастье улыбнулось Двуносому, что нашлись-таки умные люди, надоумили его выйти на начальника железнодорожной милиции. Потому что, если бы не Лимонич — Двуносый резко ударил по ящику — звякнула стеклотара, — сгорели бы киосочки, и следов бы не нашли, а так благодаря ему, Лимоничу, и киоски живы, и сам Феофилактович не только жив и здоров, а получил разрешение четвёртый киоск поставить.

Двуносый стал увлечённо рассказывать, что прежде всего заасфальтирует пивной дворик, на углах разместит киоски, а между ними натянет тент от дождя. Ограждение тоже продумал — сейчас армия торгует всем чем ни попадя. Он уже знает, где, у кого и за сколько ящиков взять маскировочную сетку, — лучшего дизайна для летнего пивного бара и придумать невозможно.

— Лоскутики шевелятся на ветерке, танцуют легкие тени, словно листочки сада, а побратимы уже сидят. Сидят за отдельными столиками, как говорится, за кружкой пива и о жизни толкуют, и всё умно и уютно — кайф!

Двуносый от удовольствия даже глаза зажмурил, но я вернул его к Лимоничу:

— А что, начальник железнодорожной милиции и горисполком, пивными точками распоряжается?

— Эх, Митя, Митя, какой горисполком? Ничего нету, а что есть, ненавидят таких, как я! Говорят: спекулянты вы, жульё, мы охранять ваше добро не бу-

дем, ведь вас хотят ограбить такие же жулики, как вы, потому что все вы — проходимцы, криминальные элементы, одно слово — «новые русские».

Двуносый, досадуя, махнул рукой, сел на такое же членистоногое приспособление. Мягко заколебался перед моими глазами, словно и он поехал на каком-то двугорбом пауке.

— Никогда я не был «новым русским», я был и остаюсь просто русским, который выдвинулся исключительно благодаря своим способностям. Другое дело я — человек новых взглядов, передовой человек, Homo novus.

Двуносый опять стал рассказывать, каких трудов ему стоило наладить непрерывное производство, он, конечно, имел в виду торговлю пивом, но я и на этот раз вернул его к начальнику железнодорожной милиции.

— Эх, Митя, Митя. Лимонич, в натуре, глаз — алмаз и Голова — с большой буквы! Если уж я, Феофилактович, криминальный элемент, то знай: все-все криминальные элементы уважают Лимонича как отца родного.

И тут Двуносый поведал прямо-таки сагу, как после очередного налета конкурентов (разбитые витрины, бутылки и так далее) заявился он с челобитной к Лимоничу, который не только за пять минут решил все его вопросы, но и помог с телефоном.

Двуносый соскочил с «паука», откуда-то из-под ящиков вытащил богато оформленный аппарат с кнопками цифр (у нас даже в редакции такого не было), набрал номер.

— Здравствуйте, это звонит директор пивного бара... А можно Филимона Пуплиевича?

В тесном пространстве ящиков замаячила гигантская фигура Тутатхамона — сразу все вокруг как будто уменьшилось, стало теснее.

— Надо правильно, по-культурному выражаться — не звонит, а звонит, и не директор, а генеральный директор, а то, понимаешь, «из грязи — в князи»!

— Хорошо, хорошо, я потом сам перезвоню, — совсем сбился с удара Двуносый, но при этом говорил так ласково, словно на другом конце провода была не секретарь Филимона Пуплиевича, а совсем маленькая девочка, с которой, играя, он нарочно коверкал слова.

Двуносый, конечно, понял, как глупо он выглядел, а потому, положив трубку, взвился от негодования.

— Ну погоди, Тутатхамонище! Идешь-бредешь, а у меня человек!.. Может, у нас какая-нибудь протокольная беседа со стенографисткой?! И тут он — на тебе! Чего надобно, старче?! Хотя какой ты старче, моложе меня! — возмутился Двуносый и в сердцах пригрозил: — Достукаешься, буду начислять зарплату, всё припомню!

Тутатхамон растерялся, стал оправдываться, мол, сами предупредили, что нужно культурное обращение иметь, притом с правильным ударением. А чуть он показал свою культуру — ему тут же клизму: за что?!

— Да погоди ты паниковать, — неожиданно повеселев, остановил Двуносый. — Видал, Митя, как мы друг друга окультуриваем?! И это только начало... — Повернулся к Тутатхамону: — Ну что, родной, что там у тебя, выкладывай, — сказал с сочувствием, повинился за свои прежние наскоки.

Тутатхамон пришел выяснить, что ему делать со школой по бухгалтерскому учету, просят пять ящиков пива (у них в конце апреля — выпускной), но они ещё за Новый год не расплатились.

— Не давать, — сказал Двуносый, но тут же отменил своё распоряжение: — Нет-нет, дай, но скажи, что в ихнем новом наборе учащихся наш человек будет. У них там этих великовозрастных учетчиков из сёл навалом! Я, может, сам пойду в ихнюю школу. Бывают знания дороже мешка с золотом, а плеч не оттягивают. Правильно я говорю, Митя, или как ты считаешь?

Я согласно кивнул, хотя, честно говоря, меня начали раздражать уже и Двуносый, и Тутатхамон. В особенности Тутатхамон — действительно, пришел, приборел!.. А у меня разговор с Двуносым был только с виду как бы то да сё... А на самом деле разговор был самый серьёзный, потому что расспрашивал я о начальнике милиции не из праздного любопытства, а с целью, да-да, с целью, весьма важной для меня. Потому что в тот момент меня терзала одна мысль: у кого занять денег для Розочки! Побольше и побыстрее, и желательно в СКВ — вчерашние советские рубли даже я стал называть «деревянными».

Конечно, свое недовольство я не должен был выдать ни словом, ни жестом. И я не выдал, сказала прежняя закатка руководителя областного литературного объединения. Эх, где они, мои Толстые?! Словом, я согласно кивнул и машинально ухмыльнулся (увы, все знания мира я променял бы сейчас на мешок с золотом). Мысль о мешке, как молния, взорвала воображение, и я как ухмыльнулся, так и остался с ухмылкой на лице. В своё время Розочка говаривала:

«Митенька, тебе страшно идёт, когда ты ухмыляешься и как бы забываешь ухмылку на лице. В тебе появляется какая-то многозначительная отвлечённость и даже пронзительный демонизм, так и кажется, что ты нарочно нахальничаешь».

Итак, я согласно кивнул и ухмыльнулся. Я и думать не думал ни о Двуносом, ни о Тутатхамоне, что они там продолжают решать. Для меня они словно испарились или провалились сквозь землю. Я вдруг увидел себя под сводами какой-то триумфальной ар-

ки, с которой свешивался глазающий на меня сфинкс с головою и грудью Розочки.

— Ответь, что такое любовь? — сказал сфинкс, и его крылатое туловище льва шевельнулось, и лицо и грудь Розочки приблизились ко мне настолько, что я невольно привстал на цыпочки и закрыл глаза. (Не буду отрицать, я хотел поцеловать Розочку и этим поцелуем ответить сфинксу, что такое любовь.)

Но поцелуя не получилось. Я открыл глаза оттого, что сфинкс ещё больше свесился и своим правым крылом отодвинул меня от мешка с золотом, который откуда-то взялся у моих ног.

— Молодец, Митенька, молодец! Твой нетривиальный ответ спас твою Розочку, твою супругу Розарию Федоровну. Ура, ура, миру — мир!

Своими мускулистыми лапами сфинкс обхватил мешок с золотом и, оглянувшись, опять приблизился лицом и грудью...

Я закрыл глаза, я был больше чем уверен, что почувствую на губах Розочкин поцелуй. И она поцеловала, но не в губы, а в лоб. И наверное, всё же не она — я ощутил мёртвый холод камня. Когда же открыл глаза, сфинкс с такой силой ударил крыльями о воздух, что меня отбросило, словно взрывной волной.

Он поднялся над триумфальной аркой (в ознаменование чьей победы она была возведена, я не понял), деловито, как крестьянин, закинул куль с золотом за спину и, уже не оглядываясь, точно норовил скрыться по холодку, так активно заработал крыльями, что в какую-то долю секунды вначале превратился в воробья, потом в шмеля и наконец растаял в голубой выси.

А между тем в выгородке киоска атмосфера изрядно накалилась.

— Ты посмотри, как он ухмыляется, он же тать, он же Алю обратал вот этой самой ухмылкой! — разорялся Тутатхамон, а Двуносый, перекрыв собою проход, не пускал его.

— Окстись! — кричал Двуносый.

И до того удивительным было слышать в его устах наряду с внезапной латынью это вышедшее из употребления старинное слово, что я невольно рассмеялся.

— Смотри, он ещё смеётся!..

В общем, ничем не мотивированный приступ ревности.

Двуносый выпроводил своего телохранителя, но доверительный тон разговора утратился. Когда я попытался его возобновить, Двуносый не поддержал.

— Неужто ты и в самом деле тать? — не столько озабоченно, сколько задумчиво не то спросил, не то подивился Двуносый и впервые посмотрел на меня с такой равнодушной отвлечённостью, что мне стало не по себе. (Такой сухой блеск глаз пугает ударом ножа, причём обязательно в спину.)

— Да брось ты, — сказал я Двуносому. — У меня письмо от жены.

А когда сказал, что хочу у начальника железнодорожной милиции занять тысячу долларов, Двуносый вообще растерялся, прямо-таки обомлел.

— Хорошо, Феофилактович, тогда ты займи.

В ответ он всплеснул руками, хлопнул себя по коленям и в изнеможении упал на приспособление, которое, самортизовав, запрыгало вместе с ним, словно он попытался ускакать.

— Нет, Митя, нет и ещё раз нет! Откуда деньги? Они все в обороте: киоск, тент, асфальт, перегруппировка киосков... Кроме того, с меня никто не снимал наличку за охрану недвижимости!

Он объяснил, что благодаря Лимоньчу они заключили серьёзный и очень выгодный договор с одной бандитской фирмой по охране недвижимости.

Нет у него денег, нет, едва на зарплату сотрудникам хватает. И то — больше от капитала для решения ежедневных проблем приходится отстёгивать. А накоплений, увы, нет, совсем нет!

— Ну что ж, Розочка тоже ждать не может, у неё уже был один привод в милицию, а она, между прочим, по паспорту Роза Слёзкина, — сказал я и, как о давно решённом, отрезал: — Мне просто ничего не остается, как идти к Филимону Пуплиевичу.

— Ты с ума сошёл! — вскричал Двуносый.

Они намеренно встречались с Лимоньчем, кстати, и меня, Митю, по-хорошему вспоминали. «Голова» якобы даже похвалил Феофилактовича за дружбу со мной.

(Умные друзья у тебя, Феофилактович, с будущим. Помогай им советами, деньгами, всем, чем можешь. Именно эта помощь создаст тебе настоящий капитал, имидж, который поможет удержаться на гребне в будущем.)

Двуносый сказал, что, благодаря знакомству со мной, Лимоньч позвонил директору фирмы по частной охране, какому-то Толе Крезу, чтобы тот наполовину уменьшил плату за свои услуги. (Двуносый перешёл на шёпот.)

— И он уменьшил... Единственное, о чём просил Лимоньч, так это чтобы всячески помогал тебе как поэту с высшим гуманитарием. И это не только его просьба — с ним была одна особа...

— Хватит, все это не имеет никакого значения, — сказал я. (Хотя сразу догадался, кто эта особа. Мне было приятно её очевидное беспокойство о состоянии современной русской поэзии.)

— Как это — не имеет?! — схватился за голову Двуносый. — После всех наших совместных речей заявишься к Лимоньчу и скажешь: займите бедному поэту тысячу баксов?! Так, что ли? Ты соображаешь, в какое положение поставишь меня, что он подумает обо мне, соображаешь?! А этот Толя Крез — ты

когда-нибудь видел харю с носом, размазанным по лицу?!

— Я не скажу, что беседовал с тобой. Или скажу, что о деньгах не беседовал, потому что сам догадался, что они у него есть. Ведь это же факт, что он купил у меня стихотворение за сто долларов?

— Вот, возьми твои оставшиеся... я хотел их приберечь тебе на питание, — сказал Двуносый, оправдываясь, и, вскочив со всё ещё продолжавшего скакать членистоногого седалища, сунул мне пятидесятидолларовую бумажку. А теперь он не хочет ни видеть ничего, ни слышать — ему ничего не надо.

Никогда я не видел Двуносого таким расстроенным, а потому, как говорится, не стал перегибать палку. Осторожно, без всякого шантажа, пообещал, что не пойду к Филимону Пуплиевичу, ни за что не пойду. Но и он, Феофилактович, пусть постарается для меня — перезаймёт деньги у кого-нибудь и не беспокоится, я оставляю ему залог, папку со своими лучшими стихами.

Для Двуносого мои даже лучшие стихи имели, конечно, слабое утешение, но и ситуация у нас обоих была тупиковая. Он понимал, что из-за Розочки я вполне способен на безрассудство. В конце концов, взяв папку, он сказал, не то чтобы очень зло, но всё-таки с достаточно сильным чувством, что лучше было бы ему не останавливать Тутатхамона, который хотел задушить меня заживо.

— Нет человека — нет проблемы, — сказал он чужие известные слова с таким пониманием и выразительностью, словно хотел подчеркнуть какую-то свою претензию на их авторство.

Словом, взяв папку и потребовав от меня никуда не высовываться, Двуносый отправился, как я понял, по своим значным местам.

— Тысячу «зелёных» для Розочки — охо-хо-хо! — воскликнул он и, наскაკивая на стены из ящиков, поспешил к выходу.

В кабинете Двуносого, узкой амбарной щели, я находился более двух часов. Сдвинув приспособления, на которых мы сидели, я безуспешно пытался вздремнуть — увы, амортизируя невпазд, они теперь создавали иллюзию двух непримиримых петухов, ожесточенно наскაკивающих друг на друга. Ощущалось какое-то мистическое присутствие Эдгара По, точнее, некоторых не совсем приятных его литературных героев. Временами даже страх охватывал. Впрочем, он не шёл ни в какое сравнение с тем, который нагнал на меня Тутатхамон, когда, внезапно просунув голову в проход, вдруг заорал:

— Та-а-а! Хватайте та-а-а!

Первое, что я подумал, — на меня совершается покушение по заказу Двуносого. Грешен, но так подумалось. Правда, уже в следующую секунду я отбросил эту мысль. На глазах у меня Тутатхамон, разъярённый, как раненый зверь, буквально в щепки

растерзал пустой деревянный ящик. Потом, пьяно икнув, обмяк и, растянувшись на полу, блаженно захрапел.

Двуносый вернулся с деньгами — шестьсот долларов!

### Глава 31

Мне не хочется вспоминать, как, перешагивая через Тутатхамона, Двуносый предостерёг, чтобы и я не рехнулся из-за своей Розочки. Глупое сравнение: я — и Тутатхамон. Представьте себе сермяжного Отелло, привыкшего всё решать с кондачка, который, заигрывая, всякий раз норовит ущипнуть Дездемону за определенное место, а потом в припадке ревности ни за что ни про что душит её насмерть. Вот вам образчик тутатхамонизма, и при чём тут я?! Свет и тьма физически исключают друг друга. Тьма жаждет поглотить свет, но это невозможно, потому что, чем больше и плотнее тьма, тем ярче горит лучинка. А уж если света много, то при одном его приближении тьма рассеивается и бежит. Помните Венок сонетов —

И свет во тьме, как прежде, не погас,  
И тьма его, как прежде, не объяла!

Мне не хочется вспоминать, как Двуносый самодовольно пересчитал новенькие стодолларовые бумажки, как присовокупил к ним и мою купюру, а потом вызвал такси и мы поехали на вещевой рынок. Во всём этом было мало интересного — вальс трикотажа из Прибалтики в обмен на русскую калинку цветных металлов и телевизоров. Единственное, что поражало, — в сонме мелькающих лиц и товаров Двуносый чувствовал себя действительно как рыба в воде. С отдельными людьми он не только перебрасывался ничего не значащими приветствиями, но иногда останавливался и разговаривал накоротке. А некоторых (чаще всего кавказцев) сам останавливал, спрашивал о киоске какого-то Визиря. Удивительно, что при этом с Двуносым разговаривали не как с Двуносым, владельцем трёх киосков, а как бы с неким неофициальным представителем всего русского народа. Да и сам Двуносый чувствовал свою неофициальную весомость и, как говорится, к месту и не к месту лепил что ни попадя.

— Здоров, Шаржик! Ну как, яйца ишо не отморозил?! А как мани-мани, маленько есть?..

— Слава Аллаху!

— Аллах Аллахом, а отморозишь — мне отвечать! — весело продолжал лепить Двуносый.

Увидев, что его шутки меня озадачивают, подмигнул и доверительно пояснил:

— Черножопики под видом «моя — не понимай» всё слопают. Потому что здесь уже не они, а я — рус-

ский. А все остальное, как говорит Толя Крез, — шелупонь!

Тем не менее возле киоска Визиря Двуносый внутренне подобрался, лицом построжел, и кстати. Визирь стоял в окружении таких же, как и он, золоторотых кавказцев, больше похожих на конокрадов, щёлкал орешки. Увидев нас, что-то сказал на своём языке, неторопливо вышел из круга и, отерев руки о бёдра, поздоровался с Двуносым.

С некоторых пор лица кавказской национальности (и тут нет никакого тутатхамонизма) навевают на меня тоску. Почему они, эти лица, так беспардонно липнут к нашим девушкам, а своих прячут от нас, хотя мы не из тех, что липнут?!

— Визирь, тебе привет от Лимоныча. Как твои дела?

— Какие мои дела?! Всякий человек того, что он приобрел, заложник. Зачем маленький человек — большому?

Двуносый кивнул на меня:

— Приодеть надо парня, приодеть с ног до головы, исподнее белишко тоже не помешает. (Словно Лёха-мент, вытащил из бокового кармана бумажку, прочитал громко, но без всякого понятия: «Поэт, — поджидаем мы перемены судьбы над ним».)

Я сразу понял, что на бумажке был написан (уж не знаю, Лимонычем или ещё кем-нибудь) стих из Корана. И хотя я не исламист, мне стало неловко за невольную комедию — то, что прочитал Двуносый, нельзя читать так бессмысленно, и вовсе не потому, что это стих из священной книги. Бессмысленно вообще нельзя читать никакие стихи — получается как бы умышленное подсмеивание над извечным человеческим тяготением к мудрости.

Я тихо отошёл от Двуносого, тем более что дружки Визиря уставились на меня как на пугало. Словом, я почувствовал напряжение и ждал шумного разбирательства, свойственного оскорблённым кавказцам, которое, увы, ничем не отличается от русского — «Ты меня уважаешь?!». Честно говоря, в эту минуту я никого не уважал, а себя даже презирал: зачем присутствую среди этих далеких мне людей?! Поэт и торгаш — эти философские категории ещё более крайние, чем я и Тутатхамон. Каково же было моё удивление, когда Визирь, услышав слова, прочитанные Двуносым, вдруг проникся к нам таким высоким чувством уважения, что даже руку прижал к сердцу.

— Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Говорю: «Поджидайте, и я вместе с вами поджидаю!»

Он что-то гыркнул своим не то дружкам, не то нукерам, и они враз разошлись, понятиливо кивая и поспешая.

Двуносый потянул меня за киоск. Уж не буду рассказывать, как наши новые знакомые стали подносить со всех сторон турецкие кожаные куртки,

джинсы, рубашки, английские шарфы, кеппи, галстуки и бельё. Я чуть не упал в обморок, когда на трусах из стопроцентного коттона прочел на фирменной этикетке — «Манчестер Сити шорты». Это просто благо, что Двуносый заключил меня в свои шубные объятия (во время примерки он таким образом согрел меня, потому что сосульки хотя и подтаивали, а стоять полностью голым всё же было холодно).

Когда пакеты с вещами были перевязаны и лица кавказской национальности, словно чувствуя свою известную вину передо мной из-за Розочки и пытаясь угодить именно мне (Двуносый зашёл к Визирю в киоск и что-то там задерживался), подошли такси (из кабины выглянул водитель, такой же золоторотый, как и все они), на меня ни с того ни с сего вдруг нашло вдохновение.

Во имя Аллаха милостивого, милосердного!  
Клянусь звездой, когда она закатывается!  
Не сбился с пути ваш товарищ и не заблудился.  
И говорит он не по пристрастию.  
Это — только откровение, которое ниспосылается.

Я посмотрел на небо, и, как по мановению, все золоторотцы посмотрели. Я чувствовал в себе необычайную силу Аллаха повелевать.

— Господь твой — Он лучше знает тех, кто сбился с Его пути, и Он лучше знает тех, кто пошел по прямому пути.

Сзади меня скрипнула дверь киоска. Двуносый в сердцах матюкнулся — он едва не упал, потому что глянул не под ноги, а вслед за всеми — в небо. Вдохновения как не бывало. По инерции ляпнул, что клянусь небом: все тюремные сроки будут всем нам вовремя скошены, запахнул крылатку и, не оглядываясь, сел в машину, отодвинув пакеты.

Двуносый, как истинный физиономист, тут же определил по лицам, что в его отсутствие произошло что-то особенное, и стал допытываться:

— Эй, кунаки-нацмены, Митя-поэт, наверное, стихи читал?!

«Кунаки-нацмены» согласно закивали, а на лицах появилось священное благоговение. И немудрено, ведь я читал им стихи из суры Звезда, которые ещё в Литинституте мне очень нравились, а сейчас почему-то внезапно вспомнились.

Двуносый по-своему расценил благоговение, посчитал, что это мои собственные стихи оказали такое сильное воздействие. Ну и, конечно, обрадовался, засуетился, стал показывать «кунакам-нацменам», что он мой лучший друг. Подбежал к машине, стучит в окно, а сам радостными глазами то на меня, то на них, но больше — на них, и весь светится, светится...

— Ну что, Митя, яйца ишо не отморозил?!

О Господи, как мне надоели его яйца! Я почувствовал ужасный голод.

Возле почты, когда Двуносый отдал деньги и пересел в другую машину, я даже перекрестился от облегчения.

«Розочка! — написал я в телеграмме до востребования. — Выезжаю сегодня вечером. Привезу, что ты просила. Встретимся в двенадцать на крыльце Главпочтамта. Целую тебя — до гроба твой Митя».

Телеграфистка, принимавшая телеграмму, на последних словах остановилась своей ручкой:

— Ну зачем уж так?!

И вычеркнула «до гроба». Я не стал спорить, а когда заплатил деньги и получил квитанцию, что телеграмма принята... что она сейчас будет отправлена по назначению, во мне зазвучали серебряные струны. Нагруженный пакетами, я ощущал такую лёгкость, что не чувствовал ног.

\* \* \*

В ранней юности я ходил на охоту с отцовским ружьем, двустволкой двенадцатого калибра. По наследству достались и его сапоги, ботфорты сорок третьего размера, которые своими высокими голенищами натирали мне в промежности. Объектом моей охоты были утки, гуси, то есть водоплавающая птица. У меня был пёс Алмаз, умнейший ирландский сеттер, с ним я никогда не возвращался без трофея, потому что он приносил к моим ногам всю дичь, подстреленную в радиусе полутора километров. Многие охотники (в особенности из городских) сердились на нас с Алмазом и даже грозились подстрелить нас обоих. Поэтому мы выходили на охоту, когда уже смеркалось и на фоне светлого неба можно было бить птицу только влёт. В это время уже никто не предъявлял нам претензий, потому что рухнувшую дичь во тьме кустов мог отыскать только пёс, точнее, мой Алмаз.

Однажды мы с ним особенно задержались. Лёгкий весенний ветерок дул в лицо, и Алмаз неутомимо, точно маятник, шёл впереди меня справа налево и обратно. Он прочёсывал своей «фирменной гребёнкой» все заросли с такой тщательностью, что мне приходилось его подзывать и удерживать, чтобы отдохнул.

Вначале где-то слева слышались плеск воды, рокот моторной лодки и оклики охотников, собирающихся домой (я ещё подумал, что пора и мне подтягиваться к железнодорожной насыпи), но потом всё смолкло. За какие-то минуты Алмаз принёс вначале одну шилохвость, а затем и вторую. Я трепетал от радости и не заметил, что небо полностью затянулось, ветерок утих и пошёл тихий тёплый дождик.

Пока я прятал в рюкзачке трофеи Алмаза, он опять убежал, я даже не заметил когда, в пяти шагах ничего не было видно. Я прислушался: ни окликов,